

В традиции русской философии. НАШ СОВРЕМЕННОК СОКРАТ

Автор: Г. Г. ВОДОЛАЗОВ

Наш современник Сократ*

Письмо второе

Мне передали, Платон, что ты пришел в сознание, что тебе полегчало. Ну, и слава Богам! Но не будем тратить время на разговоры о суетном...

Друзья все упрекают меня за поведение на суде, за речи мои, там произнесенные: "не то", "не так", "можно было оправдательного приговора добиться" и т. д. Я - отшучиваюсь; всерьез объяснять все это - штука сложная. Ведь это не только для них, и для меня самого - загадка!

Выступал-то я на суде, скажу тебе откровенно, по наитию - так, как мой внутренний голос мне подсказывал. Это **он** вел меня. Во все сложные и острые моменты дискуссии я обращался к нему: "Так?" - "Да, так", - отвечал **он**; ни разу не остановил, ни разу не упрекнул...

А сегодня я хочу попытаться разобраться - для себя и для тебя - почему же так, а не иначе, повелевал он мне поступать. Да и понять мне заманчиво, что это за штука - мой "внутренний голос" (или, как я его высокопарно называю, "мой даймон", "мой даймоний"). Давно, давно он направляет меня, и слушаюсь я его беспрекословно, и не было еще случая, чтобы он подвел меня, то есть повелел делать то, за что мне потом было бы стыдно и противно. Ты ведь знаешь, Платон, я не мистик. Ты знаешь, как высоко я ставлю человеческий разум. Он - главный объяснитель всего, главный ответчик за все. Ты знаешь все мои речи, все мои идеи - тут все основано на рациональном, разумном доказательстве. Я знаю только одно благо - **знание**. И вот тем не менее (поди ж ты) в какие-то моменты (я заметил - наиболее запутанные и наиболее сложные) разум, рациональное мышление вдруг дает сбой и тупо, растерянно молчит, и тогда - совершенно неожиданно для меня - откуда-то из глубин моего существа поднимается какая-то повелевающая сила (это даже не "голос"; голосом я ее называю так условно, другого слова просто не подберу), каким-то непостижимым образом толкающая меня к тому или иному поступку. Я хочу понять, что это. Я хочу понять ее природу, суть ее связи с моими чувствами и действиями. Я не верю, что мой разум не способен приоткрыть завесу над этой тайной (и, добавлю, такой прекрасной!) силой.

Но вначале хочу разложить, что называется, по полочкам смысл, логику моих поступков, моих действий на суде, рационально объяснить для себя (и для тебя, Платон),

* Продолжение. Начало см. "Общественные науки и современность". 2005. N 5.

какова была необходимость действовать так, а не иначе. Короче говоря, хочу перевести на язык разума те иррациональные импульсы, те толчки, что шли от таинственной и неведомой силы, которую я называю "внутренним голосом", "даймонием". А потом уж попробуем разгадать, кто же это там "сидит во мне", кто же это так повелительно и так умело ведет меня по жизни.

Я попробую ответить на все те "зачем" и "почему", что задают мне мои друзья.

Ну, во-первых, вся эта история с Лисием.

"Я бы выиграл дело", - говорил он мне после суда. Да, может, и выиграл бы, но "выиграл" бы на свой лад. Мне же не всякий "выигрыш" нужен, и уж во всяком случае - не "любой ценой".

А если бы к тому же и не выиграл? А такой исход был бы вполне возможен: Анит с Мелетом подсустились - многих афинян привлекли на свою сторону, кого - сплетней и клеветой, кого - деньгами. И вот, представляешь, зачитал бы я угодническую, заискивающую перед судьями речь Лисия и - получил бы тот же приговор! Остался бы в истории дураком. Полным! Да и не остался бы тогда в ней - какой смысл истории сохранять память о глупцах!

Нет, Платон, тут нельзя было рисковать. Я отдавал себе отчет, что, скорее всего, это мои последние речи в жизни. Это, если хочешь, мое Завещание - вам, друзьям моим, моему любимому и прекрасному отечеству, да и (не сочти за нескромность) - человечеству, нынешнему и будущему. И вот вместо моего Завещания оставить текст Лисия?.. Глупее не придумаешь!.. (Вот, стало быть, что прежде всего шепнул мне мой "голос". Неплохо шепнул? А?).

Да и потом: упустить такую потрясающую возможность обнародования моего Завещания - при таком стечении народа!

Тебе ли мне объяснять, в каких условиях вел я свои философские беседы в течение всей своей жизни. Пять, шесть, максимум десять, человек - вот и вся обычная моя "аудитория", да между делом - на базаре, у меняльной лавки, посреди шума, гама, суеты мирской: один подходит, другой уходит. Какое уж тут особое философствование!

А слушателей-то этих как я заманивал - и смешно, и жалко. Ты помнишь нашу первую встречу с тобой?

...Был жаркий и пыльный, типично афинский летний день. Ты со своим слугой и корзинками сосредоточенно шагал к рынку - закупать, видимо, продукты для вечерней пирушки. Я знал о тебе, Платон (как знал обо всех достойных внимания афинянах), и незаметно наблюдал за тобой. Я слышал твои стихи, твои речи. Я разглядел большой художнический дар, наполняющий твою душу. Твои гексаметры, обращенные к Богу любви, сияющему Эроту ("сыну Киферы"), я выучил наизусть и повторял бесчисленное число раз - так они восхитительны:

Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидели
Сына Киферы, малютку, подобного яблокам алым.
Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи
Под густолиственной чашей деревьев блестящих висели.
Сам же на розах цветущих, окованных негой сонной,
Он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы
Роем медовым кружились и к сладким губам его льнули.

Как ты нашел такие слова, такое их сочетание, такую музыку звуков, такие словесные краски и ритмы, как будто не человек, сами Боги создавали эту картину. Эта вязь образов: "густолиственная чаша блестящих деревьев", "цветущие розы, окованные сонной негой", и на этих-то, поистине божественных, розах - Он, олицетворение любви; а "золотистые пчелы", "льнущие" к "его сладким губам"! Это не просто хорошо. Это Божественно!

Я чувствовал упругую силу и неотразимую логическую красоту твоих молодых речей, видел, как ты, словно играючи, ухватываешь самую суть вещей, о которых говоришь.

А потом этот сон. Необыкновенный, осиянный солнечными лучами день (какие только в снах и бывают!). Я лежу на каком-то бархатно-зеленом травяном пригорке, и на груди у меня - о, чудо! - ослепительно белый, молодой, необыкновенной красоты и грации лебедь. И вдруг мягкий и плавный взмах крыльев - и с дивным криком он взлетает и плывет - туда, вверх, в бездонную синеву неба, и парит там, где только он, небесная синь и сверкающее солнце.

Я разгадал этот символ. Лебедь, взлетающий с моей груди, - это ты, мой дорогой Платон.

После этого сна и встретил я тебя, спешащего на базар. Мне захотелось остановить тебя, вырвать из состояния твоей базарно-хозяйственной сосредоточенности, чем-то отвлечь и увлечь тебя. Ты помнишь, что я у тебя спросил? Вряд ли это отложилось в твоей памяти. А я помню - как сейчас.

- Скажи мне, где можно достать масло и сыр?

- На базаре, - рассеянно-небрежно ответил ты.

- А добродетель?

Когда я с подобными вопросами обращался к другим людям, реакция бывала разная: один - посмотрит на меня и рассмеется (ну, ты, дескать, и шутник, дед, славно дурака валяешь) и... пойдет дальше; другой - с недоумением и опаской: странный, ненормальный старик; третий - со злобой: отвяжись старик, со своей ерундой, мне надо успеть важные вещи сделать - то купить, это, отвяжись, а не то - смотри у меня... А ты - остановился и, без улыбки, без усмешки, без раздражения, очень внимательно и очень серьезно посмотрел на меня; сколько мы так молча смотрели друг на друга - не знаю, думаю - очень долго. А потом я сказал: "Пойдем покажу, где можно достать добродетель."

Ты отослал слугу домой и пошел за мной, мой прекрасный, мой ослепительно белый Лебедь...

Да, я не был безвестным в Афинах. Обо мне говорили, бывало, пересказывали мои беседы. В общем, без внимания не оставляли. И все же это внимание имело какой-то насмешливо-иронический характер. И над плащом-то моим - старым и рваным - потешались, и над моей привычкой ходить босым - и в жару, и в холод, над моей манерой говорить образными аналогиями (где персонажами выступали сапожники и пекари, моряки и кузнецы...), над моей манерой вести диалог (которая представлялась как способ бессмысленного запутывания собеседника).

Да, я становился героем различных театральных произведений, причем известнейших, гениальных авторов - таких, как, например, Аристофан. Мало кто (при жизни!) сподобился такой чести. Но каким же там меня представляет великий Аристофан! Ты, конечно же, не помнишь. Тебе было всего 4 года, когда его комедия "Облака" забавляла афинян. Вот послушай же, как представляли Сократа (а ведь мне тогда было 46 лет, и это было время моего расцвета!).

Там некто Стрепсиад ведет своего сына Фидиппиада ко мне, чтобы я научил его умению вести "кривые речи", назначение которых - одурачивать кредиторов и не возвращать благодаря этому им долги. Ведет он его к моему "маленькому домику", который Стрепсиад именуется "мыслильней", где "того, кто денег дает им, пред судом они обучат кривду делать речью правою". Так вот обозначается смысл моей деятельности. Сын, естественно, тоже знает, как в Афинах говорят об обитателях этой "мыслильни": "А, знаю, негодяи бледнорожие, бахвалы, плуты, нечисть босоногая, дурак Сократ и Херефонт помешанный" (видишь, и мою "босоноготь" отметить не забыли!). "Ну, и что? - возражает ему отец. - Главное - научиться тебе у них "кривым" (то есть хитро-лживым) речам":

С кривою этой речью всяк, всегда, везде
Одержит верх, хотя бы был кругом неправ.
Так если ты кривым речам научишься,
Из всех долгов, которым ты один виной,
Не заплачу я и полушки ломаной.

Вот, оказывается, чем занимается твой, Платон, учитель!

Но этого мало. Надо еще основательней "пройтись" по Сократу. Стрепсиад спрашивает вышедшего из "маленького домика" "Ученика" Сократа - чем они в этой "мыслильне" занимаются, о чем они там "мыслят". И Ученик с готовностью объясняет:

Так слушай и считай за тайну страшную!
Недавно Херефонта спросил Сократ:
На сколько ног блошиных блохи прыгают?
Пред тем блоха куснула Херефонта в бровь
И ускользнула на главу Сократову.
СТРЕПСИАД И как же сосчитал он?
УЧЕНИК Преискуснейше!
Воск растопивши, взял блоху и ножками
В топленый воск легонько окунул блоху.
Воск растопивши, получил блошинные
Сапожки, ими расстояние вымерил.
СТРЕПСИАД Великий Зевс! Не ум, а бритва острая!
УЧЕНИК Что ж скажешь ты о новом изобретенье Сократа?
СТРЕПСИАД О каком, скажи, прошу тебя?
УЧЕНИК Мудрец сфетийский Херефонт спросил его,
Как мыслит он о комарином пении:
Трубит комар гортанью или задницей?
СТРЕПСИАД И что ж сказал о комарах почтеннейший?
УЧЕНИК Сказал он, что утроба комариная
Узка. Чрез эту узость воздух сдавленный
Стремится с силой к заднему отверстию.
Войдя за узким входом в расширение, Из задницы он вылетает с присвистом.
СТРЕПСИАД Тромбоном оказался комариный зад!
Мудрец кишечный, дважды, трижды счастлив ты!
Избавиться от тяжбы - дело плевое
Для вас, разъявших тело комариное!
УЧЕНИК На той неделе истина великая
Погибла из-за ящерицы.
СТРЕПСИАД Как же так?
УЧЕНИК В полночный час, исследуя движение
И бег луны, стоял он, рот разинувши.
Тут с крыши в рот ему наклала ящерка.
СТРЕПСИАД Смешно, Сократу в рот наклала ящерка!

Да, Платон, Аристофан - гений. И это все написано, действительно, смешно и талантливо. Я сам каждый раз хохочу, вспоминая эти строки. Да и то надо признать, что элементы чудаковатости были в наших (моих) беседах, в нашем (моем) поведении. И можно потешаться над ними. Да ты и сам знаешь, что нередко, в минуты отдыха, на скромных пирушках наших, мы и сами над собой потешались, гротесковали, пародируя наше "глубокомыслие".

Но у Аристофана-то не просто шарж, не просто дружеская пародия, не просто гротесковое преувеличение наших действительных чудачеств. Аристофан не шутит. Он высмеивает зло и всерьез. Да даже не высмеивает, он издевается. У него мы на самом деле предстаем "бахвалами, плутами, нечистью и дураками".

И никто не вступился за Сократа. Зрители хо-хо-га-ли!! Пусть же позднейшие историки помнят об этом и не рассказывают сказки о том, как "ценили" меня Афины, как считали "мудрейшим". "Мудрейшим" я был для них в кавычках, а без кавычек - в лучшем случае ЮРОДИВЫМ!

Конечно, кроме Аристофановых насмешек, останутся и записи моих учеников, в которых будет представлена действительная деятельность нашей "мыслильни". Но и тут, Платон, дело плохо: ведь даже лучшие записи меня не устраивают. Вот я знаю Ксенофонт все за мной записывает. Знаю, что - "из любви ко мне", что хочет сохранить для

потомков мысли "мудрого Сократа". Поэтому ни осаживать его не хочу, ни обижать критикой. Но то, что он показывал мне - ну, не я это, и все! Так, что-то очень отдаленно похожее. Я у него какой-то навязчивый морализатор, занудный дидактик: всех самодовольно обучаю всяким пустякам и банальностям - примитив жуткий! Он все по поверхности фраз скользит, не понимает главного, существенного, не схватывает подтекстов, нюансов. Не чувствует иронии, не ухватывает, как бы это сказать, верткости, многозначности слов. У него - плоско все. Пытался деликатно объяснять ему - вижу, не понимает, обижается даже. Так он теперь тайно пишет, мне не показывает - насмешек моих побаивается. Ну, опубликует он всю эту примитивщину после моей смерти - представляю разочарование умных людей после такого чтива: "И этот поверхностный проповедник банальностей и есть "мудрейший" Сократ?". Боги! Спасите, защитите меня от моих учеников!

Знаю, Платон, что и ты записываешь мои разговоры. Извини, дружище, но и тебе правду сказать хочу. Да, за твои тексты, знаю, мне стыдно не будет. Там, уверен, все будет умно, тонко, изящно, глубоко. Поумней и поглубже даже, чем то было у меня в действительности. Но Платон, но дорогой мой Платон, это тоже буду не я, это в большей степени будешь ТЫ! И чем дальше будет развиваться твой ум и расцветать твое литературное мастерство, тем дальше и дальше **твой** Сократ будет уходить от Сократа подлинного.

И что-то мне под конец жизни стало немного жаль этого "подлинного Сократа". Хотелось бы, чтобы хоть что-то осталось от него такое, что он на самом деле думал и говорил. Одна из таких возможностей приблизиться к подлинному Сократу - это наложить друг на друга Ксенофоновы и твои тексты. Ксенофоновое изложение приземлит высокий полет твоих записей, оно более зримо, более жизненно передаст приметы нашего времени, более адекватно передаст мою манеру выражаться, особенности речей моих собеседников. А твой высокий стиль, твоя благородная манера изложения, твое глубокомыслие поднимут пласты непритязательных жизненных наблюдений и пересказов Ксенофонта на уровень большой теории. Передай, Платон, этот мой совет своим друзьям, ученикам и всем, кто хотел бы добраться до более или менее подлинного Сократа.

И все же такое "наложение" текстов - процесс не механический. Он требует тонкой теоретической наблюдательности и серьезной искушенности в философствовании. Не всем это окажется по силам. Вот почему мне и захотелось **самому** - с максимально возможной для меня четкостью - изложить свои основные мировоззренческие позиции.

Знаешь, Платон, что самое страшное для мыслящего, творческого человека? Не преследование за идеи, не публичное и громкое поношение. Нет, это - нормально, это - борьба, и ты должен отдавать себе ясный отчет, что новый, нестандартный, необычный взгляд на мир обязательно встретит сопротивление поклонников традиций, коих поначалу, естественно, большинство. Самое страшное - это заговор молчания вокруг тебя. Когда сказанное тобой слово гаснет в пустоте, утопает в песке безгласия. Ты криком кричишь, а слово не летит, не передается дальше, а - падает возле, рядом, без эха, без отклика. Ты словно замурован, ты словно под колпаком, из-под которого выкачан воздух. А тебе есть что сказать людям, и ты должен это сказать. И дело тут даже не столько в трагедии твоей личной нереализованности (хотя, что ж тут скрывать, и это - штука мучительная), сколько в понимании того, что не может успешно развиваться и процветать общество, в котором мыслящие, болеющие за судьбу Отечества люди живут либо с кляпом во рту, либо в изгнании. Потому-то и принимали за чистую монету галиматью, которую писал обо мне Аристофан, потому-то на суде и рассматривалось всерьез обвинение Мелета, приписывавшего мне совершенно не разделяемые мною взгляды Анаксагора; да они не только меня, но и Анаксагора-то толком не знали.

В общем, Платон, у меня всю жизнь не было ни арены, ни трибуны, где я мог бы обращаться к людям. И вот, Платон, подарок судьбы: я - впервые в жизни - могу выступить перед громадной аудиторией своих сограждан - полтысячи судей и еще вокруг

сотни, а то и тысячи "зевак", пришедших послушать, как будут судить Сократа. Более того, я получаю возможность выступить в условиях, когда они эти полтысячи судей, **обязаны** меня выслушать, **обязаны** вникнуть в то, что я говорю. Ибо им надо не просто поаплодировать после "спектакля", но пошевелить мозгами, чтобы вынести обоснованный приговор. И пошевелить мозгами - очень серьезно и очень основательно, ибо речь-то идет о **смертном** приговоре - вещи очень серьезной и очень основательной.

В общем, это как раз тот редкий (в моей жизни единственный!) момент, когда, по сути дела, все Афины будут слушать тебя самым внимательным, самым основательным образом. Вот почему, Платон, я и отказался от чуждой мне речи Лисия. И "внутренний голос" одобрил это мое решение.

Письмо третье

Ах, какое утро сегодня, Платон! Эта заря, разгорающаяся над морем; воздух - такой чистоты и прозрачности, что кажется - вон те рощи, что толпятся у горизонта, - здесь, рядом, прямо у тебя перед глазами, - прозрачность поглощает пространство. И - сочные, ярко-зеленые цвета вокруг - травы, стеблей цветов, крон деревьев, - цвета постоянного обновления и вечной молодости... Сидел бы у окна - и часами, не шевелясь, смотрел и смотрел на это очарование. Но, увы, лимит моих часов практически исчерпан...

Критон приходит ко мне каждый день - как на работу. И все пеняет, что я неправильно вел себя на суде, что был-де я не похож на себя обычного. Что-де я, такой обычно вежливый, такой деликатный, такой дружелюбный, и вдруг так набросился на своих оппонентов, и т.д., и т.д.

Понимаешь, Платон, мне надо было с самого начала взять верный тон, поставить наш диалог с обвинителями в рамки, соответствующие моменту и нашим реальным с ними отношениям. Дружелюбие мое и деликатность существовали ведь в других, совсем других условиях - в частных разговорах, да и то преимущественно с друзьями или людьми, по своей доброй воле и желанию пришедшими побеседовать со мной. Чего же мне не быть с ними деликатным и дружелюбным! А тут-то - совсем другая ситуация. Тут надо было не смягчать, не замазывать различие наших - с оппонентами - взглядов, а резко очертить их абсолютную несовместимость. Надо было сразу обозначить ситуацию **противостояния**.

Вспоминают Перикла - не постеснялся-де встать перед гражданами на колени и уронить слезу. Да, времена Перикла - это не просто 35 лет тому назад, это вообще другая **эпоха**. Это - эпоха, когда Афины были единой **семьей**, сплотившейся в противостоянии сначала с персами, потом - со Спартой. Сейчас этой семьи нет. А есть жесткое противоборство двух идейных и общественных лагерей. На одном полюсе - аниты и мелеты, на другом - наша с тобой "мыслильня", Платон. И те, аниты и мелеты, объявили нам войну, и войну не на жизнь, а на смерть. Это уже не некое внутрисемейное недоразумение, которое-де надо уладить. Это - сражение непримиримых сторон (ведь смертного же приговора потребовали члены "нашей" афинской "семьи"!). И потому действительный, реальный выбор был не между семейной ссорой и семейным примирением (будь так, я всей душой выбрал бы второе: среди своих и перед своими - почему бы не смириться, не повиниться, не покаяться?). Выбор был между позорной, унижительной, трусливой капитуляцией перед врагами и сражением.

Вот мне и надо было сразу дать понять: мы, афиняне, перестали быть **единым** народом (как в лучшие годы Перикла), мы стали **разделенным** народом, и вышел я не на семейный совет, а на **сражение**. А коли так, то вести его надо по законам сражения: стоять насмерть, назад - ни шагу!

Мне с самого начала надо было дать понять ясно афинянам, что нас с оппонентами разделяют не пустяковые разногласия. Что тот строй жизни, мысли, нравственности, культуры, который защищают аниты, поистине **губителен** для нашего Отечества, для всей великой греческой цивилизации. Тут, сам понимаешь, не до сантиментов!

Наши враги правильной, глубже, нежели добродетельный, но наивный Критон, понимали смысл происходящего. Они объявили нам генеральное сражение. И его, несмотря на их сегодняшнее громадное превосходство в "живой силе", должно было принять - так же, как некоторое время тому назад мы, тогда еще единые, афиняне, приняли генеральное сражение, навязанное нам тысячекратно превосходящими нас силами персами. Мы, как ты прекрасно знаешь, потерпев поначалу ряд сокрушительных поражений, в конечном счете, именно потому, что не уклонились от противоборства, отстаивали право на жизнь - по нашим представлениям.

И когда я стоял на помосте перед враждебным собранием, я помнил о том опыте. Для меня, в отличие от Критона и Лисия, "победить" - означало не спасти жизнь путем уклонения от сражения, а ясно и громко сказать во всеуслышание: "Афиняне, опомнитесь! Мы - на краю катастрофы. Идеалы, формы деятельности анитов означают гибель нашего Отечества, гибель всей греческой цивилизации. Опомнитесь, афиняне!".

Видишь, как я разбушевался, Платон. Одно воспоминание о сражении на том суде снова горячит кровь и рождает молодой задор у семидесятилетнего старца!

Письмо четвертое

А теперь насчет моей вызывающей "нескромности" на суде, что особенно мучает скромнягу Аполлодора.

И снова: Аполлодор меряет все масштабом дружеской беседы за кружкой вина, тогда как противостояние на суде было всеафинского, и больше - всегреческого масштаба. И такие масштабы схватки предъявляют иные требования к его участникам.

Тут тоже ведь все очевидно - как на ладонке. Они, наши враги-обвинители, не только какие-то там личные счета сводят. Они ведь от имени Афин, от имени всей Эллады пытались говорить. Они выставляли себя ее вождями, ее героями, ее защитниками. И **они** же - заметь, Платон, - **меня** назначили вождем противостоящих им сил. Не я напросился на эту роль, это они меня на нее поставили - притянув к суду и потребовав смертного приговора.

И что же, мне следовало отказаться от этой роли, сославшись на свою "малость", и упрятаться в кусты, которые погуще? Нет, Платон, я должен был соответствовать месту, которое они и судьба мне определили.

(Продолжение следует)